

ФЕДОР АБРАМОВ
ИЗ КОЛЕНА АВВАКУМОВА

Рассказ

1

Я просил, я предупреждал шофера: не пори горячку, осмотришься хорошенько, прежде чем нырять в эту грязь. Но разве с нынешней молодежью сговоришь? В баранку намертво вцепился, газ на полную катушку: вперед на врага! Ни и, конечно, сели. Увязли, застряли там, где на веку никто не застревал, — на большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды.

Долго, с добрый час, мы возились с машиной, но что сделаешь голыми руками! А у нас, все по той же мальчишеской беспечности шофера, даже топора и лопаты не оказалось.

Мы стали ждать какую-нибудь проезжую машину: не на глухой дороге, на Пинежском тракте. Но прошел час, настал другой, а, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, вокруг по-прежнему ничего не было слышно.

— Да ведь сегодня какой у нас день-то? — осенило наконец шофера. — Не воскресенье?

— Воскресенье.

— Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься.

И вот, в конце концов, нам ничего не оставалось, как отправиться за подмогой в Койду.

Должен, однако, признаться, меня не очень радовало предстоящее свидание с Койдой. И дело тут не только в том, что к этому времени я порядком вымотался. Дело еще в том, что я вообще без особой нужды никогда не совался в эту деревню.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь — икóта, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную — и мутит, и ломает, и душит, и крик, и рев на все голоса — по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается: икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди — икотники, и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти рассказы не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбленке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ошетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти с ним («Чайшку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посущественней»), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки — ни одной, а старые полуразвалившиеся, осевшие дома, как старые лошади на лугу — неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепахано тракторами и бульдозерами.

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбородком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с лямками, и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

— Что бабушка, на солнышко погреться вышла?

— Вышла. Дочь поджидаю. Где-то с утра ушла за хлебом, и все нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

— Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

— Не работает. Третьей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, сказывают, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли — живую землю хоронить... Да ты чей будешь-то? Спрашиваешь. Не здешний, видно?

Я назвалъся приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил — так напугало меня имя старухи.

Соломея. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытым ртом (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

— Что все трешь да трешь возле меня? Не ленись, пощипли травки-то. Ну, иди, иди с богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

— Старой веры держишься, бабушка?

— Старой. Через все страданья, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

— А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлипнула, слезы вскипели у нее на глазах, но так же быстро, как у малого ребенка, и высохли.

— Не обделил, не обделил меня господь страданьями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убили, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне! Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял — все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

— Да за что же тебя так, бабушка?

— А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век хожу. Кто чем ни заболит, у кого скотина ни падет — всё Соломея-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит бог, — и тут старуха опять истово перекрестилась, — ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

— В Пустозерье? В какое Пустозерье?

— Одно Пустозерье на свете, — посуровевшим голосом ответила старуха. — В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аббакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, где? За четыреста — пятьсот верст от Пинегы, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса: живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода — куда попал?

— Ходила, — вздохнула старуха. — Девкой еще ходила. По обвету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были, на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все суземом — сырими ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. «Что, девка, спрашивают, устала?» — «Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побежу». И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром — мама зовет, шаньги поспели — я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются — нету костей. Вот как меня господь-то бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой — в самую страду работница обезножела, — да что поделаешь? Так, видно, богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить — все мертвые ноги, все ничего не помогает. А помощь пришла все от того же господа бога. Он, милостивец, ноги у меня отнял, он и возвратил.

Была у нас в деревне старушка благочестивые веры, век скоромного не едала. Так и звали — Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: «Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-припарки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет». — «О, бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили!» — «Тяжелый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?» — «Хватит, говорю». А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет — в стару веру перейти — ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну, а как третий-то обвет наложила — я и расплакалась. Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться. «Да ты, говорю, изгилеешься надо мной, бабушка. Я до ветру на ногах ходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь». — «Будут, говорит, у тебя ноги. Господу богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить господа бога — чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец приять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в печи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до субботы. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче, говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги».

И все так, как сказала божья угодница, все так и вышло. Вернул господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов господен иду.

И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

— Ох, родимой, родимой! День рассказывать — не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело — где это Пустозерье? В студеных краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, все ночь, а летом опять ночи нету, все день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну, да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали — иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ

сезжается — может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с имá, с темá мужиками попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой — лесеми да тундрой — как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за темá обозами. Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивуса-ти тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, задует: ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облюемся — о беда. Але темень-та эта тамошня. У нас о ту пору, возле рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграт, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди — вернулась — как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеге старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, — сама не верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла. А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век до гробовой доски в девках коротать, а нет, господу угодно было через новые испытанья свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось — обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе срамиться будешь? А я чем виновата? Мне не тошно — два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем — подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня господь: все от бога. Он живот тебе дает, он и силу. Молись, говорю мужику. День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас. И господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: «Проснись, Соломея, у меня мужская сила появилась». И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смущение, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и все с тем же простодушием и назидательностью сказала:

— Господь бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и господа бога прославляли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все божьим словом да верой делается. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра подымают. Я своего мужа божьим словом из мертвых воскресила.

— Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

— У меня мужик смалу в ненавидости у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться, — бить стали: «Я на вас икот напушу». Да с той поры житья, бедному, не стало, а потом и мне, евонной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Всё он, всё мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день — то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к сену, на пожню, я не могу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, праздник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чует сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу, две лошади у нас было, исправно жили, поехала навстречу. Еду, еду, все не видно мужика. Далю на сосновый бор выехала — чего это там в стороне вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву господу вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не твое творенье, господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа

бесповинного из мертвых поднять. И господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у Фокти-барышника, дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: «Соломея, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу». Лошадник был. «Слово, говорю, знаю одно — господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только табачину смолить перестанешь». И перестал, одним табачником меньше в Койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом божьим. Бо слову божьему все подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили! Льва и медведя укрощали. И я одним словом божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке — вожжа, в другой — Иван при смерти, а на нас новая смерть — мужики с кольями. На самом въезде в деревню. «Убить, убить!» — режут. О беда! О горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать — догонят. И вперед — порешат. Вспомнила: есть, есть у меня защита — господь бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак он, всеблагой, он, милостивец. Взмолилась жарко: господи, говорю, яви чудо. Сколько раз, говорю, в Пустозерье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти. И тут мне голос сверху: крестом да огнем, крестом да огнем... А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, народ пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять господь бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огорода, к колу кнутовище ременки привязала — крест. А огонь... Сарафан (голова у Ивана обмотала была, еще там, в лесу, с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой — к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками — на нас, а я на них — с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаюсь молоком. У других от страху молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей — только в эту минуту молоко и открылось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла от ворота до подола. Вот подошла я к зароду сена у Фокти-барышника, первый дом с верхнего конца, на задах стоит, — знаю, что делать. Сам господь бог мной правит, сам господь бог указывает. Крест огненный над собой подняла: на колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то, вот те бог, сейчас всю деревню спалю. И пали ироды пред божьим крестом да огнем. «Не будем больше, Соломея. Прости!». Господь, господь выручил меня. Он, милостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился.

— Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

— Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку — андел-хранитель, а по леву — бес-искуситель. Было, было испытанье мне отпущено. Не оставил господь в праздности. В колхозе робила — все одна на поле, все понапралина, как стена, меж мной и людьми. Все Соломея всех портит. А начальство — то опять невзлюбило, за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза на отсидку гоняли. Я говорю: дайте мне хоть в три раза больше заданье — сделаю. Только не заставляйте христово воскресенье топтать. Ну, господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: «Староверка, в карьер!» За то, что я и там не робила по воскресным дням.

В понедельник утром из погреба, из карьера-то этого, выпускают — шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: чего улыбаешься? А то, говорю, улыбаюсь, что страданье дал, дозволил мне с господом богом наедине побыть. И тут еще поклонюсь ему в ноги. Спасибо, говорю. И вот мучил-мучил меня — это когда вторым-то заходом я была в лагерях, — да и выгнал. «Доконала ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было».

— Да, бабушка, — сказал я, — не жизнь у тебя, а целое житие.

— Не обделена, не обделена страданиями да испытаньями. И то хорошо, то милость господня. Через страдания да испытанья дорога в царствие божие лежит. Страдания да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, господи! — Старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась. — Не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пушай все увидят, кто раба твоя Соломея!

Я не знал, как утешить старуху и только вздохнул.

Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

— Посиди еще, бабушка.

— Нет, Матрены, видно, не дожидаться — на молитву пора вставать.

— Успеешь еще, — снова попытался я удержать старуху.

— Не говори так, — строго сказала она. — Молитва — перво дело, изо всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?

Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня: мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду провести старуху.

В низкой, на старинный манер избе — без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево — меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломеи в живых уже не было — она умерла весной нынешнего года.

— Хорошо померла, — начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. — Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и ангелы прилетели, кончились земные страдания.

— Ну, а все же как это было?

— Как умерла-то? А вот сидели тут за столом, разговлялись, она и говорит мне: «Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу». — «Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь?» — «Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!» — Еще остратку мне дала. Ну пришли старушонки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. «Вот, говорит, скоро предстану перед господом богом, не грешна перед людьми. Через всю жизнь, говорит, со словом господним на устах прошла». А потом — старухи и в себя прийти не успели — легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки на грудь крест-накрест, да и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. «Прости, прости, говорят, Соломея. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила».

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают — по целым дням кричат да корчатся, бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я долго стоял у песчаной могилы со свежим сосновым столбиком.

